

Шмуэль Йосеф Агнон

С квартиры на квартиру

Зимние дни миновали, но облегчения не принесли. Я не успевал излечиться от одной болезни, как начиналась другая. Врач сделался постоянным гостем в моем доме. Приходил два-три раза в неделю, осматривал, щупал пульс и прописывал снадобье. Одни микстуры отменял, другие назначал, и советы следовали за советами. Даже время теперь подчинялось врачу, и весь дом наполнился лекарствами, в запахе которых ощущалось присутствие смерти. Тело мое ослабло, губы растрескались. Горло хрипело, язык обложило, а гортань, созданная для беседы, отзывалась одним лишь кашлем. Я был близок к отчаянию, но врач не отчаивался. Он назначал новые микстуры и давал моей хвори новые прозвания. Улучшения, однако, не наблюдалось.

В заботах о здоровье миновали холодные дни. С каждым днем солнышко поднималось все раньше и задерживалось на небосклоне все дольше. Небо улыбалось земле, а земля улыбалась людям. Выпростала ростки и цветочки, травки да колючки. По склонам и долам рассыпались козы и овцы, и из каждого дома, из каждой лачуги проклюнулись малые дети. Прилетели две птицы, принесли в клювах листья да соломку, порхнули с окна на дерево, а с дерева – снова к окну, пощебетали и соорудили себе гнездышко. Новым ветром повеяло в мире, и мир пошел на поправку. Болезнь ослабила хватку, тело стало легким, необременительным. Врача тоже не обошли перемены, инструменты заплясали в его руках, да и сам он глядел проще и веселей. Входил со словами: вот и весна наступила, – и растворял окно, смахивая с подоконника склянки с лекарствами, а разбились, нет ли – ему все едино. Он по-прежнему был внимателен и прописывал снадобья. Писать-то пишет, но вместо латыни женское имя выводит и в кармашек себе засовывает, либо за ремешок часов на левой руке. А по прошествии нескольких дней посоветовал мне сменить обстановку, скажем, съездить к морю и насладиться освежающим бризом.

Я решил не продлевать аренды, а съехать с квартиры и перебраться в Тель-Авив. Поменяешь место – поменяешь счастье, гласит пословица, сказал я себе, глядишь, море поможет, и мне полегчает.

Узкая, с низким потолком комнатка, которую я снял в Тель-Авиве, выходила на улицу, где не прекращался поток пешеходов и теснились тележки с мороженым и газированной водой. Внизу находилась автобусная остановка, где круглые сутки толпился народ. С пяти часов утра и до часу ночи снуют туда-сюда автобусы, да всевозможные коляски и повозки, ведомые двуногими и четвероногими. Вот уж и продавцы лимонада ушли, и людской гомон утих, а гулкое эхо все бьется о стены моей комнатки, будто бросили камень в медный котел, и хоть выскочил камень, а котел все гудит и грохочет, гудит и гремит. Несчетно просыпался я среди ночи от дребезга стаканов и скрипа тормозов, словно все уличные водonoсы сошлись в моей комнате и наполняют стаканы страждущим, и все на свете автобусы ездят взад-вперед над моим потолком. А может и не эхо то было, может и впрямь рокотали автомобили и шумели дворники, подметая улицы, пока другие спят. Что ж до наполняемых стаканов, то, верно, пришел сосед с собрания, сунул под кран разгоряченную голову, а мне уж кажется, будто кто-то разливает шипучий лимонад, и звякают, и звякают стаканы. Так и проводил я ночи без сна, а предрассветные часы – без сладкой грезы. Поступился я сном и желал лишь одного – полежать спокойно,

но под окна являлись торговцы рыбой и принимались нахваливать свой товар, а потом всходило солнце и накаляло мою комнату адским жаром.

Нехватка сна мешала мне насладиться тем, что предлагает человеку Тель-Авив. Шел я к морю и начинал раздеваться – усталость одолевала меня, и не было сил скинуть одежду. Один башмак стяну, а другой – нет мочи. Плещут мне навстречу морские волны, не то заывают, не то прогоняют. Так, не солоно хлебавши, я возвращался домой совсем изможденный. И снова советовали мне друзья: смени квартиру, добром это все не кончится. По мере воображения и красноречия расписывали мне ужасы и напасти, подстерегающие человека в таком, как мое, жилище. Одни беседовали со мною степенно и деловито, другие пугали тем, что случилось с ними. Когда хватало во мне силы думать, я думал, что правда на их стороне и необходимо съехать с этой квартиры. Но не всякая мысль ведет к делу.

Так и оставался я на месте, пока не грянула новая беда. А что это за беда? У хозяев квартиры был сынок, и множество разных недугов угнездились в его тщедушном тельце. До того, как я у них поселился, мальчик жил у бабушки, но стоило мне въехать, мать забрала его домой. Не то от тоски по сыну забрала, не то оттого, что плата за комнату позволяла ей прокормить его самостоятельно. Не знаю, было ли ему хорошо у бабушки, но у матери ему хорошо не было. Вечно она занята, все общественные дела на ней, и не хватает ей времени на собственного сына. Каждое утро, с рассветом, она выносила его на улицу, совала в руку помидор или баранку, наставляла, что делать и чего не делать, целовала в губки и уходила. Отец малыша был занят поисками работы, и свободного времени у него вовсе не было. Лежал себе мальчик у порога и ел землю либо соскабливал со стены известку и тоже совал ее в рот. Разве мать не оставляла ему поесть? Да только так уж человек устроен, что жаждет недоступного, а доступным не утешается. И всякий раз, как я проходил над ним, он тянул ко мне свои худенькие ручонки, цеплялся за меня и не отпускал до тех пор, пока я не возьму его на руки и не покачаю легонько. И что он во мне нашел? Я-то не видел в нем ничего хорошего. К детям я отношусь точно так же, как ко взрослым: нравятся – сближаюсь, не нравятся – держусь подальше. Много всякой неправды придумано людьми, да и я небезгрешен, но тут скажу без ложной скромности – я перед детьми никогда не кривлю душой.

Все вышесказанное касается дня. А ночью дела обстояли еще хуже. С того момента, как мальчика укладывают, и до самого утра, он мучается, стонет и плачет. А не плачет и не стонет – еще горше, ибо кажется, что отдал Богу душу. Я говорю себе: встань, пойдешь разбуди его родителей. Но не успею встать, а уж слышатся его плач или стоны. Я, как и вы, ни плача, ни стонов не люблю, но тут мне его плач слаще райской песни, потому что знаю – ребенок жив.

Короче говоря, прилепился ко мне этот мальчик. Может оттого, что отец и мать не занимались им, как положено, и он жаждал общества, а может оттого, что я его качал. Так ли, эдак ли, но едва я ступлю на порог, он просится на руки. Возьму я его, а он тычет пальчиками мне в глаза и смеется. Бывало, целый день не увидишь улыбки на его лице, а стоит ему ткнуть мне пальцем в глаз – смеется. Уж сколько раз твердили ему отец и мать: нельзя, Буби, нельзя. Впрочем, строги они были только для виду, а сами горды и рады, что сынок их такой смысленный. Я же, отнюдь не разделявший этой радости, удивлялся другому: тучи комаров и мух облепляют болячки мальчика, и он ленится их прогнать, а лишь завидит меня – делается проворным.

Тогда я стал действовать умнее. Прежде, чем выйти из дому, проверяю, где Буби. Если он на пороге, я прячусь дома и пережидая. Но поскольку днем в моей комнате не высидишь, приходилось идти. Только выйду – мальчик хватается за ноги. С вящей любовью цепляется за меня, ждет, что возьму его на руки и покачаю. И я качаю его, а он тычет пальцем мне в глаз и смеется. Положу его на землю, он кричит: тять-тять, зять-зять, что значит: дядь-дять, взять-взять. И кто это придумал такой стишок, он сам или воспитательница? В любом случае, сюсюканье уж точно от какой-нибудь воспитательницы. Человека, как известно, отличает от животных способность к членораздельной речи, да только все содеянное Творцом ждет своего довершения. Вот воспитательницы и стараются. И коль скоро ребенок просил, я снова брал его на руки и снова принимался качать, а он тычет мне пальцем в глаз и говорит: Буби, Буби. Собственное отражение он обнаружил в моем глазу и все норовит выковырять его оттуда.

Когда человека одолевают напасти, он начинает размышлять о своих поступках. Кроткий во всем винит себя, не кроткий – на чужой счет списывает. Коли это предприимчивый человек – старается что-нибудь предпринять, а коли созерцатель – ждет, чтобы беда миновала сама собою. Случается, и вправду проходит беда, а бывает, нагрянет новая, и позабудешь о прежней. Я не достиг пока ни величия скромников, ни расторопности деятельных, а потому сидел и размышлял о порогах. И зачем только их вообще делают? Не было бы в доме порога, не лежал бы на нем ребенок, и я бы с ним не встречался.

Выше упоминал я своих друзей, но из добрых к ним чувств вспомню о них снова. Поначалу они меня просто предупреждали. Когда ж их предсказания сбылись, заговорили со мной, как с нездоровым, и вразумляли: всякому человеку необходимо нормальное жилье, тем более тому, кто нуждается в исцелении. Но у меня не было сил заниматься квартирой, и я ссылался на мудрость Талмуда: никогда не следует человеку менять свою обитель. Что ответствовали мне мои друзья? Вопреки Талмуду подыщем тебе жилище! Только легче сказать, чем сделать, тем более, сослужить службу ближнему. И я продолжал жить, где жил.

Однако одна женщина не стала со мной спорить, а потрудились и подыскала мне славную комнатку в красивом месте на свежем воздухе и не отступалась от меня до тех пор, пока я не согласился отправиться вместе с нею посмотреть новое место.

Сказала: обычно этот хозяин жилье не сдает, но дочка его перебралась в кибуц, и комната стоит пустая. Отец согласился пустить туда жильца. Что же касается платы, возьмет с вас не больше, чем платите теперь. Так прямо и объявил: главное не деньги, а квартирант; если человек ищет покоя, мой дом для него всегда открыт.

Средь садов и виноградников на нас глянул холм, окруженный стройными тополями, а на холме – небольшой домик. Вверх к дому ведут заросшие травой ступени, и живая изгородь из плодовых деревьев окаймляет его и осеняет дом и траву благодатной тенью. Войдешь во двор, там прудик с разноцветными рыбками. Посмотрел я на дом, оглядел двор – радостно стало мне и тревожно. Радостно, оттого что вот, есть все же такой уголок у нас на Земле Израилевой, а тревожно, оттого что не был я убежден, что мне уготовано место сие.

Вышла из дому хозяйка, улыбнулась приветливо, глянула на меня по-хорошему и провела нас в красивую комнату, где не чувствовалось дневного

зной, и принесла прохладной воды напиться. Вошел и хозяин, старик лет шестидесяти, высокий и худощавый; голова его слегка склонена влево, а голубые глаза хоть и печальны, но светятся добротою. Поздоровался со мной и налил нам воды, а когда мы утолили жажду, показал комнату, которую я собирался снять.

Славная квадратная комната распахнулась вдруг мне навстречу. Простая деревянная мебель, и всякая вещь на своем месте. Ничего лишнего. Так же проста картина на стене, нарисованная их дочерью: одинокая девушка в поле смотрит на заходящее солнце. Вид заходящего солнца обычно навевает грусть, но от этого заката веяло сладким покоем. Здесь все дышало покоем – и залетавший со двора ветерок, и сама эта чистая комната. Когда я договорился о найме, хозяин пригласил меня в сад, попить чаю. С моря тянуло прохладой, деревья шелестели листвой, самовар пыхал паром, и мирная безмятежная благодать разливалась над нами. За чаем хозяйка рассказала нам о своей дочери, которая оставила всю эту красоту и ушла в кибуц. Не жалуясь говорила, а как мать, которой любо вспоминать о дочери. Хозяин дома молчал. Но поскольку смотрел на нас с приязнью, казалось, что и он беседует с нами.

Я спросил у хозяина, как он оказался здесь. Отвечал мне хозяин: я прибыл сюда тем же путем, что и большинство жителей Страны Израиля. Только ведь как бывает? Приедет человек в расцвете сил, страна эта ему в радость и он этой стране в радость, а приедет в старости – он-то радуется этой стране, да она ему не рада. Я вот не удостоился прибыть сюда в молодости, а оказался здесь уже стариком, хотя мысли о Стране Израиля посещали меня еще смолоду. Как дело было? А вот как. Я торговал зерном. Однажды случилось мне быть в поле, пошел я за жнецами и вспомнил о Стране Израиля, где живут евреи и сами пашут, сеют и жнут хлеб свой. С тех пор образ той страны неизменно стоял у меня перед глазами, и я говорил себе: вот бы мне воочию увидеть ее. Не жить в ней думал я, а только поглядеть на нее. В те годы я много трудился и выбраться сюда мне так и не удалось. Потом началась война, и пути были отрезаны.

Когда успокоилась земля и открылись пути, я продал все, что у меня было, и прибыл в Страну Израиля. Не просто повидать ее приехал, но поселиться здесь навсегда, потому что в то время моя страна сделалась для евреев адом и будущее не сулило им ничего хорошего.

Поле я покупать не стал, поскольку большую часть своих лет уже прожил и в земледельцы не годился. Батраков брать тоже не захотел, чтобы не кормиться чужими трудами, хоть бы и от своей земли. Решил я купить дома и жить от сдачи в наем. Не успел приняться за это дело, как понял – не для меня оно. Почему так? В первую ночь в Стране Израиля сон не шел ко мне. Вышел я на улицу, посидеть у входа в гостиницу. Небеса чисты были неземной своей чистотою, звезды лучились серебром, и бездонный безмолвный покой разливался в вышних. Однако на земле не было ни тишины, ни покоя. С грохотом проносились автобусы, шумели и галдели люди. Усталые юноши и девушки с трудом передвигали ноги после работы, но все-таки пели, и из каждого дома, из каждого открытого окна вырывались нестройные звуки музыки. Я смотрел по сторонам и не знал, не то сердиться, не то жалеть их, ведь и им, верно, спать хочется, да комнаты их не пригодны для отдохновения, как и эта моя гостиница. Мне что – я старый человек, сижу себе на лавочке, а они-то молоды – вот им и остается по улицам бродить.

Постепенно стих городской шум. Пойду лягу, сказал я себе. Но только собрался встать, слышу – голоса какие-то сдавленные. Глянул туда, сюда, никого. И кажется мне, из-под земли звуки доносятся. Вспомнились мне Корах со товарищи, которых живьем поглотила земля, только у тех на устах песнопения, а эти голоса звучат гневом и огорчением.¹ Снова стал я оглядываться, вижу – из-под ног моих сочится свет, и понял, что есть тут подвал, а в подвале люди живут. Подумал я: возможно ли? Еврейский город в Стране Израиля, возведенный достойнейшими в народе, чтобы всякому еврею дать радость и смысл жизни в еврейской стране, – а люди в подземелье живут?! Встал и пошел прочь, чтоб не лишать их доступа воздуха. Всю ту ночь я не сомкнул глаз – комары и докучливые мысли мешали мне уснуть. И пришел я к выводу, что никак нельзя мне приобретать дома в этом городе, потому что кто знает, чем дело кончится, – может, и тот домовладелец приехал сюда с любовью к ближнему, а сделал то, что сделал. Принялся я объезжать окрестности и увидел этот холм. Но и его приобрел не сразу, а сперва присмотрелся к соседям. И только тогда решился, когда понял, что они не из тех, кто землю кроит и на лоскуты кромсает, чтобы потом перепродавать втридорога. Решился и построил тут дом – себе, жене и дочери. Дом построил и деревья насадил, чтобы усладить эту землю, и она тоже услаждает нас и дарит нам плоды, и зелень, и цветы.

Тут вступила хозяйка и добавила: так уж люди устроены – заведется у них немного денег, едут за границу подлатать свою плоть да поправить здоровье. Ради этого покидают родной кров и долго в пути маются и по суше, и по морю. А и прибудут в красивое место, квартирку найдут крохотную – ни развернуться в ней, ни свежего воздуха глотнуть. А мой муж и дом поставил в красивом месте, и свежего воздуха тут вдоволь, оттого нет нам надобности изнурять себя дорогою – сидим мы у себя дома и наслаждаемся всем, что ниспослал Господь.

Собираясь уходить, я вынул фунт, в залог за взятую комнату. Отвел хозяин мою руку и сказал: если по вкусу вам моя комната, вы и так придете, а не придете – где мне вас потом разыскивать, чтобы деньги вернуть. Обрадовался я, что с Божьей помощью оказался в славном месте, у хорошего человека, и поблагодарил свою спутницу, которая привела меня сюда.

Главное, и комната, и хозяева, и само место понравились мне, а плата не превышала того, что я платил родителям мальчика. Обрадовался я покою, ожидающему меня в этом доме, и сладкому сну, который не приминёт прийти. Тот, кому приходилось не спать ночами и и дни проводить без отдыха, поймет мою радость при мысли о новой комнате.

Легче обзавестись крыльями и перелететь с квартиры на квартиру, чем сказать хозяину, что собираешься от него съехать. Есть в этом что-то для него обидное, как будто зазорно для тебя проживание в его доме, уж не говоря о том, что ты лишаешь человека дохода.

¹ Корах (Корей) – человек из колена Леви, который во время Исхода из Египта поднял бунт против Моисея и Аарона, тоже претендуя на священное богослужение. Тора (Исход, гл. 16–17) пишет, что в наказание разверзлась земля и поглотила бунтовщиков живьем, а еврейское предание рассказывает, что иные из них успели покаяться, и тут из пропасти поднялись столбы, за которые они ухватились и тем спаслись, а в благодарность воспели псалмы «сынов Кореевых» (Псалтирь, 45–48 и др.).

Размышляя о переезде, я отвлекся от шума автобусов и уличного гомона. А отвлекшись, несколько раз даже умудрился вздремнуть, и во сне отдыхало мое сердце от грустных мыслей. Я думал: ведь есть люди – жители подвалов, например, – которые были бы счастливы иметь даже такую комнату, как у меня; нет, не следовало мне подыскивать другое жилье. Только раз уж я договорился, придется мне туда переехать, но коль скоро я на прежнем месте, может, и переезжать-то незачем.

Так ли, эдак ли, стало у меня неладно с глазами. Пошел я к врачу. Врач прописал мне капли и наказал не трогать глаза руками, а то как бы хуже не сделалось. Будь я сам по себе, выполнил бы его наказ без труда. Но как быть с мальчонкой – ведь едва завидит меня, виснет на мне и в глаза мне пальцами тычет. Мало того, что пальцы у него перепачканы, у него и глаза больные. И отчего это врачи предупреждают того, кто и сам бережется? Им бы со своими советами – да к тем, кто осторожностью пренебрегает.

Но Небеса смилостивились надо мною. Так случилось, что пришлось мне на время уехать. В этом ничего обидного для хозяев не было, ибо знали, что дела вынуждают меня покинуть город. Я простился с ними по-дружески, и они тоже расстались со мной как друзья. И от полноты чувств дали мне поддержать своего мальчика. А на прощанье сказали: если вернетесь в Тель-Авив, наш дом для вас всегда открыт будет. Покивал я, а про себя подумал: благословен Тот, Кто избавил меня от вашего гостеприимства. Больше вы меня под своей крышей не увидите.

Восемь дней я провел в разъездах. Много пришлось мне трудиться, и многим меня утруждали. Но я знал, что не сегодня – завтра окажусь в славной просторной комнате, и принимал все тяготы с любовью. Одного только ждал – поскорее вернуться в Тель-Авив.

Много пришлось мне трудиться, и многим меня утруждали. Всю страну я проехал и увидел, что новые селения появились у нас. Места, где росли волчцы и тернии, обернулись райским садом. И подобно земле – ее жители: радуются они работе своей, с веселием возводят дома, и дети их растут крепкими и здоровыми. Ручонки детские чисты, глаза не гноятся. Такое дитя взять и покачать – одно удовольствие. Пальцем в глаз тебе не тычет, а если и дотронется – словно чистейший ветерок скользнул по твоему лицу.

В одном кибуце я познакомился с дочерью моих новых хозяев. Если бы годы мои еще впереди были и если б я не договорился уже с ее родителями, остался бы в том кибуце. Я простился с девушкой, как прощаются с другом, – зная, что вернешься и встретишься с ним вновь.

В Тель-Авив я возвращался с великой радостью. Такой радости я не испытывал много лет. И уже видел себя в славной комнатке, на свежем воздухе, среди красивых вещей, у добрых хозяев. Вхожу и выхожу, когда вздумается, и никакой младенец не тычет мне в глаза грязными пальцами. Но главное – сон. Сон, не прерываемый ни автобусами, ни лотошниками, ни плачем, ни стонами. Я вам открою секрет: в последнее время здоровый сон видится мне главным человеческим достоянием, и всякий, кто умеет крепко спать, кажется мне мудрецом, постигшим тайну бытия, ибо ведомо ему, ради чего человек живет. Легко понять, как я радовался при мысли о доме, где смогу спать без помех.

Не знаю я, стоит ли еще сегодня тот дом, что на холме. А если стоит, не открыли ли в нем конторы да магазины, как сделали со многими тель-

авивскими жилыми зданиями. Но в те отдаленные времена дом этот был особенный и хорош был необыкновенно.

Поезд подошел к Тель-Авиву, и сердце мое запело. Я представил, как войду в свою новую комнату, лягу на кровать и засну сладким целительным сном. Да благословится Тот, Кто наделят Свои создания радостью!

Я подзвал носильщика, и тот взял мои вещи. И раз уж сердце мое ликовало, я спросил его ласково, где он живет и хороша ли его квартира, как человек, у которого легко на душе и хватает досуга осведомиться о делах ближнего. А потом я поведал ему о своих жилищных злоключениях. Слово за слово, заговорили мы о первых днях Тель-Авива и о том, как вырос и изменился город. Вздохнул носильщик и сказал: такого покоя, какой был тут когда-то, не видать нам до прихода Мессии.

Так за разговорами мы добрались до моего нового жилья. Зеленый холм возвышался в венце своих деревьев, яркие цветы благоухали. Носильщик остановился и огляделся. Ясно было, что такой красоты он еще не встречал.

Мы молча взошли по травяным ступеням. Из сада тянуло свежестью и сладостными ароматами. В воздухе порхали и кружилась бабочки, а внизу, в воде, плескались рыбки, ловя свои проворные тени. Показался хозяин, радушно меня приветствовал и сказал носильщику: вносите вещи.

Вдруг взгляд мой упал на порог и сердце сжалось. Чист и вымыт был тот порог, и тени от цветов ластились к нему. Но мальчонки там не было, никто не рванулся ко мне, не обхватил мои ноги, не потянулся ручками. Бесшумно скользили по порогу цветочные тени, и никакие младенцы не лежали там.

Носильщик стоял, не двигаясь, и не сводил с меня взгляда. Неужто ждал, что попрошу его отнести вещи в другое место?

Вышла хозяйка, ласково кивнула мне и сказала: ваша комната готова.

Понурил я голову и сказал ей то, что сказал. А может, ничего не сказал, просто повернулся и пошел обратно. И носильщик побрел за мной следом, неся на плече мои вещи. Помяну добрым словом носильщика за то, что молчал и не мешал мне размышлять. Может, он думал о покое, что наступит с приходом Мессии, а может, сердце подсказало ему, что не стоит докучать человеку, возвращающемуся туда, откуда сбежал.

Так, в молчании, я пришел к своему прежнему жилью. На пороге лежал мальчонка, весь перепачканный и расцарапанный. Ресницы его слиплись и покрылись зеленоватой коркой. Я сомневался, что эти глаза были в состоянии видеть хоть что-либо.

Но он меня увидел. А увидев, протянул вперед неверные пальчики и позвал: тять, тять, то есть дядь, дядь. Голос его сипел, как у охрипшей от лая собачонки.

Я взял мальчика на руки и покачал – вверх-вниз, вверх-вниз. А он изо всех сил обхватил меня за шею. Был он легче цыпленка, и странным жаром дышало это тщедушное тельце. Мальчика лихорадило.

Долго-долго держал я его на руках, а он колотил меня ножками в своей бессловесной радости. И раз, и другой я взглядывал на него, желая напомнить, что у меня в глазах живет его образ. Но он не потянулся к моему лицу – за те восемь дней, что я отсутствовал, глаза его опухли от плача, и он не мог видеть своего отражения.

Тут появился молодой хозяин. Вы вернулись? – спросил он и сделал важное лицо. Я покрепче обнял малыша и промолчал. Наконец, опустил его на землю и уплатил носильщику за услуги. Мальчонка протянул ко мне руки и сказал: тять, тять. Я снова поднял его. Он приклонил головку к моему плечу и задремал.

Я вошел в дом и уложил мальчика в кроватку, а он зашевелил во сне губами: тять, тять, натья, натья, то есть дядь, дядь, надо, надо.

Вошла мама мальчика. Поставила сумку, подкрасила губы и сказала: выходит, вы вернулись. Если б мы знали заранее, прибрали б у вас в комнате... Я кивнул и прошел к себе. На полу кусочки сора скрывались под слоем пыли.

Я разделся и лег. Под окном гудели автобусы, продавцы зазывали покупателей, торговцы наполняли стаканы шипучим лимонадом. Но постепенно все звуки словно отступили, исчезли – все, кроме тишайшего посапывания спящего ребенка, доносившегося до моих ушей. Я приставил к уху ладонь, чтобы лучше слышать.

Перевела Зоя Копельман

Опубликовано: **Иерусалимский журнал**, №39, 2011.